

Четвертая англо-американская объединенная конференция «Что нужно делать? История науки в новом тысячелетии»

3–6 августа 2000 г. St. Louis Missouri, USA

Организуется Британским обществом по истории науки, Канадским обществом по истории философии науки и Историко-научным обществом (BSHS, CSHPS, HSS).

За более подробной информацией или с предложениями обращаться по адресу:

Conference Website <http://depts.washington.edu/hssexec/2000/joint2000.html>

Пишем о прошлом, взываем к будущему: женщины и поколения в науке, медицине и технологии

12–15 октября 2000 г., Университет Сент-Луиса, Миссури, США

За информацией обращаться:

Charlotte G. Borst, Chair, Local Arrangements Committee, Department of History, Saint Louis University, 3800 Lindell Blvd., St. Louis, MO 63156.

## Книжные рецензии

А.М. Никулин



*Никулин Александр Михайлович,  
кандидат экономических наук,  
магистр социологии, научный  
сотрудник Московской высшей школы  
социальных и экономических наук.  
Тел. (095) 434-7282, факс (095) 434-7547.  
E-mail: [nik@msses.co.ru](mailto:nik@msses.co.ru)  
117571, Москва, пр-т Вернадского, 82/2*

**Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах (Отв. ред. и авт. пред. Г.С. Батыгин; ред.-сост. С.Ф. Ярмолюк. СПб.: Русский христианский гуманитарный институт, 1999. 683 с.)**

Книга, по свидетельству ее ответственного редактора и автора предисловия Г.С. Батыгина, является частью более широкого замысла – написать историю общественной мысли советского периода. Замысел этот имеет несколько оснований. Во-первых, крушение советского строя вызвало волну модных, а главное, безопасных намерений лишиться раз публично обругать поверженного монстра – указать на его идеологический догматизм и чуть ли не полное отсутствие свободы научного творчества и этических норм. Ответственный редактор книги подчеркивает, что «замысел и концепция работы были продиктованы стремлением противостоять злобе дня и собрать как можно больше материалов, проясняющих развитие социологии в то непростое время» (с. 3). Во-вторых, «замысел сборника был мотивирован верой в неоднозначность исторических реконструкций, а также долгом перед поколением советских социологов, благодаря которому мы можем сегодня говорить о научной традиции и учительстве» (там же).

Книга представляет собой объемный том, состоящий из двух частей. В части первой опубликованы воспоминания двадцати пяти социологов и обществоведов, чье личностное и творческое становление как ученых пришлось на 60-е гг. XX в. Во вторую часть включены документы, характеризующие вехи развития отечественной социологической науки с конца 1950-х до начала 1970-х гг. Книга снабжена солидным вспомогательным аппаратом:

указателем имен, списком сокращений, биографическими справками об авторах. Книга иллюстрирована фотографиями и рисунками того времени.

Г.С. Батыгин пишет, что книга могла бы иметь подзаголовок «Материалы для истории общественной мысли советского периода». Но результат работы значительно превосходит заявленный жанр «материалов». Данные «материалы» менее всего похожи на источниковедческое сырье. Продуманность композиции книги дает читателю уникальную возможность заняться творческой задачей – многовариантным анализом проблем истории социального знания. Такой метод рациональной реконструкции можно назвать «бриколажем» – он использован составителями книги для подготовки воспоминаний и предоставляет необычные возможности для рецензирования. Во всяком случае, из «бриколажей» книги можно выстроить своего рода рецензионный ряд, который, как нам представляется, с одной стороны, покажет, насколько рецензируемая книга воссоздает дух социологии шестидесятых годов, с другой – передает его связь с общетипическими характеристиками российской социологической науки. Нам потребуется выделить ряд стержневых тем-характеристик книги и проиллюстрировать их фрагментами опубликованных в ней мемуаров и документов. На наш взгляд, стержневые темы здесь следующие: дух, настроение, знания, достижения, уроки эпохи 1960-х гг.

**Дух эпохи.** В воспоминаниях Ю.Н. Давыдова понятие «дух» по рангу даже выше «духа эпохи», ибо он «дух мировой». Как заявляет Ю.Н. Давыдов в заглавии, «дух мировой тогда (в 1960-е гг. – А.Н.) осел в эстетике» (с. 382). В эстетике, – потому что некоторые одаренные философы в то время относительно беспрепятственно и достаточно продуктивно работали в области эстетики. Философ по образованию, Ю.Н. Давыдов в начале 1960-х гг. также пришел работать в Институт истории искусств с ясным ощущением, что «мировой дух уже покинул нашу философию. А если где он и присутствует, то в эстетике» (с. 397). В конце 1960-х гг., когда Ю.Н. Давыдов перешел работать в Институт конкретных социологических исследований (ИКСИ), он обнаружил, что «мировой дух» покидал также эстетику и искусствоведение (если где он и теплился, так это в социологии) (с. 401). Ласковым домашним слоном плетется и оседает мировой дух вслед за Ю.Н. Давыдовым на страницах его мемуаров. И это трогательно. Но насколько это объективно? Рецензируемая книга, благодаря обилию разнообразных мемуаров и документов, дает возможность рассмотреть вопрос об особенностях духа той эпохи. Кстати, в остальных мемуарах понятие «дух» не упоминают вообще, но зато припоминают слона (!), точнее, знаменитую эпистемологическую притчу о слоне, которую В.Н. Шубкин излагает так: «Рассказывают притчу о слепцах, которых просили описать слона. Тот, кто потрогал хобот, сказал, что слон длинный и теплый. Ощупавший клык заявил, что слон твердый и острый. А тот, кто наткнулся на ногу слона, утверждал, что слон высокий и круглый, как дерево. Никто из них не лгал. Но нетрудно видеть, как далека картина в целом от описаний каждого из них. Так и представления о явлениях общественной жизни. Нет ничего сложнее и загадочнее социального явления. На нем всегда отблеск тайны» (с. 80). Явления со-

циологической жизни 1960-х гг. благодаря разнообразию рефлексии авторов книги предстают во всей своей многоплановости. Безусловно, дух эпохи проступает в столичной эстетике (Ю.Н. Давыдов), в румянцевском ИКСИ, на научных семинарах Ю.А. Левады, а также в новосибирской экономической социологии (Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина) и в ленинградской социологии труда (В.А. Ядов), на берегах Азовского моря (Б.А. Грушин, проект «Таганрог»), на Урале (Л.Н. Коган) и даже в молдавском селе Копанка (В.Н. Шубкин). К сожалению, в книге не удалось описать социологические исследования в Перми (З.И. Файнбург), Уфе (Н.А. Аитов) и других региональных центрах.

**Настроение эпохи.** С духом эпохи тесно связано ее настроение. Воспользуемся вслед за Альбертом Швейцером фундаментальным различием эпох по базисным настроениям «оптимизм» – «пессимизм» (см. [1]). По Швейцеру, оптимистические эпохи – эпохи созидательные. Они дают реальное, зримое приращение позитивного знания. Пессимистические эпохи – разрушительные (не обязательно в прямом материальном смысле), в них преобладают софистическая критика и декадентская культура. Огрубляя Швейцера, можно утверждать, что эпохальный оптимизм созидателен, но наивен; эпохальный пессимизм проницателен, но бесплоден. С этой точки зрения рецензируемая книга убедительно демонстрирует *оптимистическую созидательность* эпохи шестидесятых. Нетрудно также увидеть, как в дальнейшем она неуклонно трансформировалась в пессимизм семидесятых годов. Шестидесятые предстают в книге годами золотой осени советского социалистического оптимизма. Судя по воспоминаниям авторов книги, все они родом из детства – еще яростно-романтического советского оптимизма тридцатых и сороковых.

Обратимся к рефлексии авторов по поводу настроения эпохи. Ю.А. Левада вспоминает свое настроение при поступлении в МГУ: «Просто было тогда странное, мальчишеское представление, что есть места, где должны говорить “настоящую правду”. Было ощущение того, что газеты, школа, пропаганда врут, но делают это потому, что так “надо”, а вот где-то и кто-то должен знать подлинную правду» (с. 82).

А вот с какими чувствами выбирал факультет для поступления Б.А. Грушин: «Я выбрал философский, потому что был одержим проблемами морали и шел туда, чтобы “улучшить наше поколение”» (с. 205). По окончании университета в выборе места работы выпускник тех лет часто руководствовался соображениями, которые приводит Р.В. Рывкина: «Мой отец был коммунист. Он считал, что “дочь коммуниста не может отсиживаться в столице”. Идеология у меня была такая: надо ехать туда, где трудно, где нужна молодежь. Вот я и поехала в Сибирь, абсолютно добровольно» (с. 269).

И даже «земную жизнь пройдя до половины» уже в шестидесятые годы, авторы воспоминаний не расстаются с оптимистическим настроением. В.Н. Шубкин: «В те далекие времена, треть века назад, я, как и немногочисленные еще тогда коллеги, согрешившие с социологией, был полон энтузиазма» (с. 79). Г.В. Осипов: «Должен сказать, что те годы – годы становления социологии – были полны вдохновения, романтики» (с. 107). Н.И. Лапин:

«Всегда побеждало желание заняться чем-то новым» (с. 253). Л.В. Карпинский: «Работали свободно – и хорошо работали» (с. 195). Л.Н. Коган: «Романтика юности неповторима; это относится и к юности Человека и к юности Науки. Мы – участники её возрождения, вместе с ней прошли её юность» (с. 300). И.В. Бестужев-Лада: «Началось повальное увлечение прогнозированием, а что это такое – толком мало кто знал... тогда казалось, что не будет больше ужасов сталинизма, не будет хрущевского волюнтаризма, а будет социализм “с человеческим лицом”... И казалось, что волна успехов в развитии прогнозирования будет нарастать и нарастать» (с. 414). Все эти чувства испытывали представители интеллектуальной элиты в тоталитарном обществе.

Но практически во всех воспоминаниях рассказывается и о постоянном давлении на ученых – идеологическом, цензурном, административном – вплоть до репрессий в виде партийных разбирательств с выговорами и увольнениями. Как могли тогда совмещаться искренний, продуктивный оптимизм с суровым внешним контролем и внутренним самоконтролем? В книге есть размышления и об этом. Особенно интересным представляется объяснение Л.А. Гордона: «Мне кажется, психология довольно широких групп людей, живущих в условиях тоталитарного режима, – психология некоего отстранения. Я знал, что могут посадить ни за что... Никто из людей моего круга никогда не думал, что Бухарин – шпион или что-нибудь в этом роде. Но то была одна сторона души. А рядом сосуществовало совершенно нелогичное ощущение: советская власть в главном права, она не ошибается. Вот такая двойственность сознания, “ненормальная нормальность”... Ситуация легко преодолевается на уровне более широкого взгляда на мир. У меня такое понимание появилось, мне кажется, где-то с XX съезда, с середины пятидесятых, когда мне было 25–26 лет. А до этого времени – именно некое раздвоение» (с. 374).

Не бывает эпох, настроенных только на оптимизм или пессимизм. В любой эпохе есть представитель «настроенческого меньшинства». И шестидесятые здесь не исключение. В книге чувство последовательно критического пессимизма передают воспоминания И.С. Кона под характерным заголовком «Эпоху не выбирают»: «Мы, мое поколение, были не только жертвами безвременья, но и его соучастниками» (с. 110). «Во-первых, почти в каждом из нас жил внушенный с раннего детства страх... Когда бьют тебя самого, возникает, по крайней мере, психологическое противодействие. А когда у тебя на глазах избивают других, чувствуешь прежде всего собственную незащищенность, страх, что это может случиться и с тобой... вместе с чувством личного бессилия рождается и укореняется социальная безответственность. Тысячи людей монотонно повторяют: “Ну что я могу один?” Второй защитный механизм – описанное Джорджем Оруэллом двоемыслие, когда человек может иметь по одному и тому же вопросу два противоположных, но одинаково искренних мнения. Двоемыслие – предельный случай отчуждения личности, разорванности ее официальной и частной жизни... Тот, кто жил целиком в мире официальных лозунгов и формул, был обречен на конфликт с системой. Рано или поздно он должен

был столкнуться с тем, что реальная жизнь протекает вовсе не по законам социалистического равенства. А тот, кто понимал, что сами эти принципы ложны, был обречен на молчание или сознательное лицемерие» (с. 112–113).

В книге показано, как на рубеже шестидесятых–семидесятых оптимизм эпохи начинает резко убывать. Типичными для этого времени становятся настроения, созвучные мнению Ю.А. Левады: «Я тогда в политический прогресс на нашей ниве не верил и рассчитывал только на то, чтобы развить интерес к серьезному социальному знанию, полагая, что оно пригодится через 30 или 50 лет будущим поколениям» (с. 85). Похоже, только один из 25 авторов остался непоколебимым оптимистом – это М.Н. Руткевич, который утверждает: «Я оптимист и думаю, что через все тернии и зигзаги дело, в общем-то, двигалось и будет двигаться к лучшему» (с. 251).

**Знания эпохи.** Поскольку в 1940-е гг. слово «социология» было почти таким же «лженаучным» как слова «генетика» и «кибернетика», юность всех без исключения авторов воспоминаний прошла в абсолютном неведении о том, что социология как реальная и позитивная наука все-таки существует. Характерный отрывок из воспоминаний Т.И. Заславской: «Помню, еще подростком я спрашивала маму: “Есть ли такая наука, которая изучает, как живут люди, как строятся их взаимоотношения, почему они такие разные?” Мама ответила, что это изучает этнография, о социологии она тогда и не знала» (с. 133). Тем удивительнее читать, как уже в зрелом возрасте у историков, экономистов, философов, логиков, филологов, математиков, физиков, партработников, журналистов, театральных критиков рождались представления о социологии как призвании и профессии. Социология появилась прежде всего в результате упорного и творческого труда и самообразования. Н.Ф. Наумова: «В основном наша работа, по сути, была учебой, хотя внешне выглядела как самостоятельная научная работа» (с. 310). Н.И. Лапин: «Одновременно шла и учеба: читали сами себе циклы лекций, не стесняясь учиться. Левада слушал Кона, Кон – Леваду. Я прослушал полный курс лекций Грушина по организации производства социологической информации» (с. 257).

Овладевая социологическими знаниями, «продвинутые» стремились насколько возможно передать их «неофитам». Благо, что желающих послушать и поразмышлять про социологию было предостаточно. И.С. Кон: «Моя самая важная, с точки зрения ее социального воздействия, книга “Социология личности” (1967) была написана на основе курса лекций, прочитанных в Ленинградском университете на изломе хрущевских реформ. Эти факультативные лекции в огромной аудитории, куда вместо пятисот человек набивалось свыше тысячи, где места занимали за два часа до начала лекций, а слушатели, не только студенты, но и профессора, стояли в духоте, плотно прижавшись друг к другу, и при этом соблюдая абсолютную тишину, – одно из сильнейших впечатлений моей жизни. Конечно, это не было моей заслугой. Студенческая молодежь середины 60-х страстно жаждала информации о себе и своем обществе. Для нее все было внове» (с. 118).

Особенно тщательно прорабатывалась тогда методическая часть исследований. В.А. Ядов отмечает, что методическая культура была: «более

скрупулезная, чем у западных профессионалов сегодня... казалось, что надо очень аккуратно соблюдать все правила: вот вам гипотеза, вот проверка, вот критерий статистический и т.д. Все что положено делать в исследовании высокого стандарта» (с. 61).

Так же, как человека, лишь в зрелом возрасте занявшегося изучением иностранного языка, всю оставшуюся жизнь не покидает мысль о своем акценте, в воспоминаниях социологов-шестидесятников постоянно присутствует рефлексия о границах и пределах своего профессионального самообразования. На вопрос, кем он сам себя считает, Л.В. Карпинский ответил: «Даже не знаю кем. Дилетантом-философом, скорее. И очень большим дилетантом-социологом в том смысле, что знаю, что это такое, приблизительно... Чуть-чуть журналист. Первую часть жизни я провел как молодежный политик» (с. 202). В.А. Ядов формулирует свою позицию еще более радикально: «Мы все – самоучки в социологии. В английской “Times” было опубликовано интервью с Ядовым под заголовком: “Self-made sociologist”. Сначала я решил, что это обидно – “самоучка в социологии”. А потом вник в семантику английского и понял, что это скорее комплимент, и речь идет о человеке, который сам себя сделал таким, какой есть» (с. 61).

Критические соображения об уровне и характере социологических знаний 1960-х приводит Ю.А. Левада: «Мы собирали всех, кто пытался самостоятельно думать, знать положение дел в социальных науках. Были и такие, кто приходил просто из любопытства... чего-то оригинального и серьезного создано не было. И весь круг идей – в основном идеи просветительские в области социологии и культурологии. Я думаю, что это было интересно не как открытие, а как движение, как способ общения, организации и источник вдохновения. Если смотреть современными строгими глазами, то здесь и наивности было много, и недостаточно образованности, потому что ведь наше поколение никто серьезно не учил. Мы сами учились всем этим предметам – плохо и мало» (с. 91).

В этой шестидесятнической рефлексии о границах профессионализма и самообучения заключается принципиальный, до конца так и не решенный вопрос о продуктивности и ограниченности дилетантизма (как правило, вынужденного) в науке. Обращаясь к мнениям классиков социологии, мы имеем по крайней мере две различных точки зрения. Макс Вебер отзываясь о дилетантах отчасти с уважением, но в основном со скепсисом (см. [2]). Роберт Мертон доказывает, что в определенных исторических условиях именно дилетанты творят настоящую науку (см. также [3]). Что касается шестидесятников, то некоторые из них остались, по их собственным словам, дилетантами, а некоторые все-таки стали self-made профессионалами. Упорное самоотверженное самообучение положительно повлияло на всю отечественную социологию. И традиция дилетантизма, восходящая в русской культуре еще к Александру Герцену (см. [4]), безусловно плодотворно проявляется в 60-е гг. XX в. Об этом эмоционально точно пишет в своих воспоминаниях Н.Ф. Наумова: «И люди прорывались и создавали что-то значительное только тогда, когда они (не говоря об этом, а может, сами того не сознавая) откладывали в сторону все, что знали, и создавали на го-

лом месте нечто новое. В общем все это самоделки. Я считаю, что действительно настоящее научное достижение – это концепция Ядова об уровнях. Но это тоже самоделка» (с. 306).

**Достижения эпохи.** Среди трепетной интеллигентской рефлексии авторов книги о «самодельном самообразовании» выделяются четкостью и лаконичностью отчета воспоминания Н.В. Филипенко, которому по должности – начальника Главного управления университетов, экономических и юридических вузов Минвуза СССР (1959–1968 гг.), а затем заведующего сектором ЦК КПСС – было положено знать положение дел в общественных науках вообще и социологии, в частности. Н.В. Филипенко отмечает: «В 1960-е гг. потребности общественной практики... а также требования логики самой социологической науки определили возникновение социологических подразделений в стране. Среди них: отдел социологических исследований Института философии АН СССР, лаборатория социологических исследований при Ленинградском университете, а позже Институт комплексных социальных исследований, кафедра конкретных социологических исследований на философском факультете МГУ, Институт общественного мнения “Комсомольской правды”. Это около 160 лабораторий и отделов по социологии при обществоведческих институтах АН СССР и республиканских академиях наук, а также вузах, свыше 40 институтов и советов по социологическим исследованиям на общественных началах при республиканских, краевых и областных комитетах партии. Исследования социологического характера вели многие научные институты ведомственного подчинения, крупные предприятия, агропромышленные комплексы. Существовала советская социологическая ассоциация» (с. 331).

Таковы реальные институциональные достижения эпохи. Но периоду роста разнообразных социальных институций было свойственно и достижение уникальной творческой атмосферы шестидесятых. Важнейшие ее особенности заключались, например, в высоком коллективизме ученых. Р.В. Рывкина пишет: «Коллективность была особой чертой социологии тех лет. Под нею была экономическая база: деньги не дифференцировали ученых, наука не была замешана на деньгах» (с. 275). Другую характерную черту достижений шестидесятых – открытую междисциплинарность, как тематическую, так и организационную, – отмечает Ю.А. Левада: «С середины 60-х гг. расцвела неофициальная или полуофициальная разновидность интеллектуального общения – семинары, чтения, конференции. Общими приметами были нетрадиционность тематики, междисциплинарность, открытость обсуждения. Такие семинары действовали в Москве, Ленинграде, Новосибирске, еще в нескольких центрах... Научная жизнь – была семинарская жизнь» (с. 92).

Одни авторы высказывают в целом умеренную оценку достижений шестидесятых годов с точки зрения эталонов мировой социологической науки, другие полагают, что достижения все-таки были значительные и первоклассные. Так, А.Г. Здравомыслов, размышляя о научном потенциале своего поколения, подчеркивает: «Без осмысления того, что сделали мы, социологии нет» (с. 156). Г.В. Осипов резюмирует: «В России, в Советском

Союзе сложилась социологическая школа. Нас объединяли идеи утверждения социологии как самостоятельной науки и подведения научных методов, включая математические, под социологические исследования. Это первое. Второе – овладение мировым социологическим знанием, которое в значительной мере было [нами] утрачено. И, конечно, третье – проведение классических социологических исследований; к ним можно отнести “Рабочий класс и научно-технический прогресс”, “Человек и его работа”, “Копанка 25 лет спустя” (все остальные уже были позже). Многие труды того периода – я уверен, – несмотря ни на что будут лет через десять издаваться и переиздаваться. Повторю: это классика» (с. 109).

**Уроки эпохи.** Читатели книги еще долго будут в них вдумываться, переосмысливать заново. *Первый урок* – социально-политический: в тоталитарном обществе возможно спонтанное возникновение и фундаментальное развитие социального знания. Современник шестидесятников американец Сеймур Липсет заявляет: «В подлинном смысле слова, академическая социология невозможна в тоталитарном обществе» [5, р. 69]. По прочтении книги мы многократно убеждаемся, что «все-таки она вертится!». Советская социологическая наука существовала и развивалась, несмотря на все внешние препятствия и внутренние искажения, которые, например, систематизируются Б.М. Фирсовым следующим образом: «Соблазнение будущим – важнейшая черта советского периода нашего государства» (с. 348). В целом за советской социальной наукой так и остались два неотмоленных исторических греха: «Первый – ослепление образом государства» (с. 349), «грех второй – примирение с социальным порядком» (с. 350). При этом сама тоталитарная власть по отношению к науке принимала «превентивные меры, обеспечивавшие послушание интеллектуалов», поддерживала «механизм искажения и разрушения позитивного знания» прежде всего через повседневное функционирование многоликой государственной цензуры, основными ипостасями которой были: цензура начальника, корпоративная цензура, цензура издательства, научного журнала. Партийный аппарат и КГБ имели уникальную качественно-количественную шкалу (от кнута до пряника) чувствительного воздействия на ученых и научные сообщества. Суровый вывод Б.М. Фирсова: «Наука в этих условиях была в значительной мере официальной. Отсюда противоречивость и даже вред квазисуществования внутри этой государственной, если так можно выразиться, научной дисциплины» (с. 357).

И все же наука «вертелась», хотя бы потому, что, по верному замечанию В.С. Семенова, «наука выше политики» (с. 428). Она сложнее политики. В книге намечается иная качественно-количественная шкала – шкала изобретательного противодействия ученых и науки тоталитарному прессу. Прежде всего это реализация того способа поведения, которое в политической социологии, применительно к традиционным обществам, описал Дж. Скотт (см. [6]) – использование так называемого оружия слабых: внешняя демонстрация почтительной лояльности и скрытое оказание остроумного сопротивления. В.В. Колбановский отмечает: «Честный и открытый бой тут практически невозможен, поэтому он повсеместно принял форму

“необъявленной войны” философских “отцов и детей”» (с. 31). Одним из рубежей сопротивления в то время могла стать даже стенгазета, тем более если в ней сотрудничали такие «дети», как Э.В. Ильенков, Е.И. Никитин, Э.В. Соловьев, А.А. Зиновьев, А.Н. Гулыга, коллективными усилиями создавшие образ «отца» «Митрофана Лукича Полупортянцева – дремучего невежды с огромным апломбом и мощными связями, восходящими к “свекру моему Тимофеевичу” в партийных небесах, наушника и стукача, рьяного гонителя вольнодумства и свободомыслия. Митрофан Лукич был слепком с биографий многих “ведущих” философов того времени» (с. 31–32).

Еще один широко распространенный вариант применения оружия слабых – включать в рамки господствующих идеологием другой способ мышления. Хороший пример – в воспоминаниях Э.А. Араб-Оглы: «Для меня истмат как наука вообще никогда не существовал, впрочем, и диамат тоже. Напрашивается вопрос: как же я тогда преподавал их двадцать лет в АОН при ЦК КПСС? Ответ простой – я учил своих аспирантов так же обращаться с марксистскими категориями, как шахматист учит начинающих игре в шахматы, причем включая в свой курс оригинальные неортодоксальные дебюты» (с. 363). «Помню, я прямо говорил Мамардашвили, что я не марксист – да и он, конечно, не был марксистом» (с. 366).

Следующий вариант оружия слабых – используя аппарат открыто негативной марксистской критики, исследовать объект своего критического анализа. И.С. Кон: «Люди критиковали преимущественно то, чем втайне увлекались: философы, склонные к экзистенциализму, критиковали Хайдеггера и Сартра, потенциальные позитивисты “прорабатывали” Карла Поппера и т.д.» (с. 116).

С одной стороны, искусно применялось оружие слабых. С другой стороны, «сильные» ведь тоже не представляли из себя «железобетонную» массу. Многие из тех, кто по статусу и должности в науке и партийном аппарате относился к кругу полупортянцевых и тимофеевичей, являлись людьми, целенаправленно стремившимися развивать социальное знание. Многие с уважением вспоминают академиков Ю.П. Францева и А.М. Румянцева. Л.А. Гордон характеризует этот эффект следующим образом: «В самом общем виде можно сказать, что партийный аппарат был средоточием реакции. Если вы начинаете исследовать историю 60–70-х гг. и вам надо изложить ее в двух фразах, – тогда это будет правильно. Если же вы хотите изучить ее более детально, то должны сказать: да, были репрессии, но применительно к социологии они начались гораздо позже, уже где-то в семидесятых годах. И дальше вы должны сказать: да, конечно, партийный аппарат был средоточием реакции, но в этом аппарате были разные элементы, разные группы людей... Представьте себе человека, который на двадцать градусов отклонялся от монолитного курса, тогда как все отклонялись от него на плюс-минус один градус. Такой человек играл гигантскую роль в качестве разрушителя догм» (с. 379). Таким человеком, например, был Л.А. Оников – сотрудник Отдела пропаганды ЦК КПСС, который в конце 1960-х гг. искусно обеспечил реализацию одного из самых крупных социологических проектов – таганрогского исследования. Сам Л.А. Оников

отзывается об этом как о естественном и само собой разумеющемся деле: «Социология оказалась эпизодом в моей партийной работе. Я просто выполнял свой человеческий и партийный долг» (с. 235).

*Второй урок* 1960-х гг. – карьерно-конфликтный. В любом научном сообществе, даже в таком идейно-романтическом и непрагматичном, каким было научное сообщество шестидесятых, существуют и стабилизирующие, и инновационные тенденции, усиливающиеся индивидуальными и групповыми амбициями. В условиях феодально-иерархической институциональной структуры науки эти процессы могут принимать особенно болезненные, а порой и деструктивные формы. Например, такое характерное поучение выслушал при смене места работы И.В. Бестужев-Лада от более старшего по возрасту, должности и званию ученого коллеги: «Вы идете, как говаривали раньше, в чужие люди, – сказал он мне. – Здесь ваше место и ваш путь определены, здесь все вас знают и вы никого не задеваете. Если не случится ничего сверхъестественного, можно назвать приблизительно годы, когда вас произведут во все следующие научные чины. Работайте спокойно – и вы составите себе имя в науке по той проблематике, к которой склонны. Если же вы уйдете, то куда бы вы ни ушли – вам придется либо стать “шестеркой” у человека, занимающего в науке более высокое положение, и “пахать” на него, теряя лучшие годы жизни, либо остаться аутсайдером, и тогда вас все время будут пытаться обокрасть и унизить. Так устроена жизнь» (с. 408).

Так же традиционно устраивалась жизнь, по воспоминаниям В.Н. Шубкина, и в только что построенном новосибирском Академгородке. «Прежде всего – огромная дифференциация. Это не была дифференциация, органически выросшая, которая создавалась столетиями, как в Геттингене и других научных европейских городках. Нет, она закладывалась еще при строительстве... В глаза бросались коттеджи. Их получали академики без учета состава семьи... Полкоттеджа выделялось членам-корреспондентам, иногда докторам. Основная масса ученых жила в обычных домах с трехметровым потолком и раздельным санузлом. Наконец, в Академгородке был участок, целиком застроенный пятиэтажками, “хрущобами”, который здесь иронически называли “Гарлем”... Они предназначались для младших научных сотрудников, лаборантов, инженеров. Дифференциация касалась не только жилья. Она сказывалась и на снабжении продуктами... и снабжения промтоварами...» (с. 72–73).

В условиях традиционно-иерархических бытовых структур конфликты в науке между замечательными учеными приобретали особо болезненный характер. И если таких ученых в одном месте собиралось слишком много, как это произошло в конце шестидесятых в ИКСИ АН СССР, то, по воспоминаниям А.А. Галкина, возникала «сложность», состоявшая «в том, что в институте на одной “площадке” сконцентрировалось слишком много интеллектуалов. Оказывается, есть какой-то предел, как, вероятно, и у животных – лишние начинают бодать и выталкивать» (с. 324). Часто здесь смешиваются высокая наука и мелкие дразги – формируются антагонистические фронты. ИКСИ, по свидетельству И.В. Бестужева-Лады, в ту пору

«разделился на два враждебных лагеря с двумя учеными советами, двумя редиздатами и прочими аксессуарами. Социология и политология отошли на задний план, началась война... И из-за чего? Из-за “единиц” и квадратных метров» (с. 419). В подобного рода войнах многое определяет авторитарная воля руководителя. Руководители с такой незаурядной волей были в 1960-е гг., их воспоминания опубликованы в книге. Сама лексика этих воспоминаний – борцовская и фаталистическая – чрезвычайно красноречива.

Стиль воспоминаний Г.В. Осипова: «Действительно, вся история нашей науки того периода прошла, как говорится, через мои руки. Так получилось» (с. 95). «Я кончал аспирантуру этого института и затем стал его ученым секретарем – самым молодым тогда. В течение четырех лет я возглавлял комсомольскую организацию института и, видимо, меня заметили... Мы начали избавляться от псевдофилософов, вели настоящую борьбу, и на этой волне я стал заместителем директора института – наверное, тоже самым молодым заместителем директора в истории Института философии – и взял под свой контроль как раз проведение социологических исследований, внедрение социологических методов» (с. 98). «Как социолог я определился с самого начала... четко шел в одном направлении и никогда, ни при каких условиях его не менял... Я... постоянно пытался делать все для того, чтобы социология как наука могла служить нашему государству и народу...» (с. 101).

Воспоминания М.Н. Руткевича: «Многое было предрешено» (с. 236). «Разговоры, которые и по сей день мне приходится слышать о том, что я, мол, “разогнал институт” – чепуха, инсинуация низкого пошиба... И когда ленинградцев действительно перевели в ИСЭП, то это было решение президиума Академии, меня не спрашивали...» (с. 243). «Что касается Левады, то, как и в отношении Бурлацкого, вопрос был предрешен... Так что и это не на моей совести. По ленинградским секторам вопрос был предрешен, по Леваде – предрешен, вот Шляпентох – тот, слава богу, уехал сам. Что касается Кона... уход Кона тоже записывайте на реорганизацию системы институтов Академии наук... Конечно, при мне не было той свободы, при которой можно было бы месяцами не ходить на работу. Вообще в ИКСИ царил хаос. Левада организовывал семинары, приглашал каких-то сексопатологов для чтения публичных лекций... Семинар этот я прикрыл» (с. 244–246).

Коллективизм и солидарность коллег-шестидесятников с особой силой проявились в организации науки на началах «незримых колледжей» – свободного продуктивного общения единомышленников, объединенных бескорыстным увлечением наукой. Но в формально административных структурах – «зримых колледжах» 1960-х гг. часто проступают контуры «желтого дома», описанного А.А. Зиновьевым.

*Урок третий* – этико-экзистенциальный. Его оценку сформулировал в предисловии к книге Г.С. Батыгин: «За исследовательской программой, которую развивали социологи шестидесятых годов, стояли не только исторически уникальные теоретические и методологические проблемы, но также социальные идеалы и ценности, которые в условиях рыночной эконо-

мики могут показаться не вполне реалистическими. Тем не менее эти идеалы и ценности были вполне реальны по своим последствиям. Именно в ценностном контексте особенно четко прорисовывается миссия поколения, в нелегкие времена воссоздавшего социологию как призвание и профессию. Опыт этого поколения учит, что судьбу направлений и школ нередко определяют не столько теоретические и логические аргументы, сколько жизненные позиции и поступки людей. «Шестидесятники» сумели быть свободными в несвободном обществе. Таков их урок следующим поколениям» (с. 16). Здесь остается уточнить лишь один частный, но очень важный аспект этого вывода. В деятельности шестидесятников экзистенциальный смысл занятий социологией часто заключался в самоотверженном «возделывании почвы» без осязаемой надежды на получение плодов истины и признания.

Вновь обратимся к воспоминаниям. В.Б. Ольшанский: «Сотрудник моего сектора, А.У. Хараш, однажды прямо спросил: в чем я вижу цель жизни? Ответил скромно, что при таком отставании страны сказать новое слово в науке невозможно, следовательно, наш удел – всего лишь “унавозить почву”» (с. 187). Б.А. Грушин оценивает таганрогский социологический проект: «Работа проведена грандиозная, результаты получены уникальные. Но никому не нужные. Ни тогда, ни теперь» (с. 226). Т.И. Заславская: «Есть элемент “унавоживания почвы” в нашей работе, деятельности нашего поколения... Нам очень хотелось создать настоящую науку» (с. 155).

В силу долговременных историко-культурных причин настоящая наука в России всегда имела три уникальных этико-мировоззренческих основания, драматически проявившихся в судьбе социологов шестидесятых годов: 1) Тотальная сверхзадача преобразования окружающего мира; 2) Любопытный дилетантизм поневоле; 3) Самоотверженное подвижничество среди косной действительности. Эти три позиции остаются жизненно важным наследием, которое книга «Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах» передает российской науке грядущего тысячелетия.

### Литература

1. Швейцер А. Культура и этика / Пер. с нем. Н.А. Захарченко, В.Г. Колшанского // Швейцер А. Избранное. М.: Прометей, 1993. С. 287–506.
2. Вебер М. Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. А.Ф. Филиппова, П.П. Гайдено // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 707–736.
3. Merton R.K. Science, technology and society in seventeenth-century England. New York: Harper&Row, 1970.
4. Герцен А.И. Дилетантизм в науке // Герцен А.И. Собр. соч. Т. 3. М.: Мысль. 1954. С. 7–88.
5. Lipset S.M. Commentary: Social stratification, research and Soviet scholarship // *International Journal of Sociology*. 1973. Spring. Summer. V. III. No 1–2. P. 351–362.
6. Scott J.C. Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance. New Haven: Yale U.P., 1985. 245 p.

Б.И. Козлов



*Козлов Борис Игоревич,  
кандидат технических наук,  
доктор философских наук,  
главный научный сотрудник Архива РАН,  
действительный член Академии  
космонавтики им. К.Э. Циолковского.  
Тел. (095) 129-3488, факс (095) 129-1910.  
115563, Москва,  
ул. Генерала Белова, д. 33/19, кв. 201*

**Юревич А.В. Умные, но бедные: ученые в современной России. М.: МОНФ, 1998. 208 с. (Серия «Научные доклады». Вып. 70).**

Адаптация российского научного сообщества к реалиям так называемого переходного периода – одна из тем, широко, но, похоже, малопродуктивно обсуждаемых на протяжении последних десяти лет. Кажется, только ленивый интеллектual не посетовал на тяжелое положение работников научного труда, только вовсе бесчувственный гражданин не посочувствовал им, и только совсем уже безответственный политик не выразил твердого намерения споспешествовать возрождению науки России и способствовать спасению ее золотого фонда во имя грядущего светлого будущего. На эту тему охотно продолжают писать и говорить журналисты, высказываются руководители, откликаются зарубежные специалисты. Сама российская наука между тем продолжает и разваливаться и перестраиваться – в меру конкретных условий, в которых оказывается тот или иной научный коллектив, научная школа или учреждение.

Что же в действительности происходит в рефлексии отечественной науки и в ее самосознании после крушения оснований сложившейся в советские годы организации научной деятельности? Как сама она реагирует на происходящие в ней внутренние процессы и каким образом оценивает свое современное состояние и возможные перспективы? Сегодня столь популярные в СМИ сенсационные разоблачения и «штормовые предупреждения» уступили место анализу причин, механизмов и последствий происходящего, т.е. теоретическому осмыслению фактов, настолько бесстрастно и объективно, насколько это вообще возможно для людей, оказавшихся на «палубе корабля» российской науки, «столкнувшегося с айсбергом» постсоветской действительности.

В ряду научных публикаций о переживаемой российской наукой катастрофе небольшая, изданная тиражом всего 300 экземпляров книга А.В. Юревича занимает заметное место. *Во-первых*, она написана ведущим